

*Литературно-художественное издание*

Издательство Российского союза писателей

Серия: Библиотека солдата СВО

**Караулов Игорь Александрович**

## **СТИХИ**

*Война не будет длиться вечно...*



«Назовите молодых поэтов», –  
попросил товарищ цеховой.  
Назову я молодых поэтов:  
Моторола, Безлер, Мозговой.

Кто в библиотеках, кто в хинкальных,  
а они – поэты на войне.  
Актуальные из актуальных  
и контемпорарные\* вполне.

Миномётных стрельб силлаботоника,  
рукопашных гибельный верлибр.  
Сохранит издательская хроника  
самоходных гаубиц калибр.

---

\* От английского contemporary – современный, актуальный. – *Здесь и далее примеч. ред.*

Кровью добывается в атаке  
незатёртых слов боезапас.  
Хокку там не пишутся, а танки  
Иловайск штурмуют и Парнас.

Не опубликуют в «Новом мире» их,  
на «Дебюте» водки не нальют.  
Но Эвтерпа сделалась валькирией  
и сошла в окопный неуют.

Дарят ей гвоздики и пионы,  
сыплют ей тюльпаны на крыло  
молодых поэтов батальоны,  
отправляясь в битву за село.

Есть косноязычие приказа,  
есть катрены залповых систем,  
есть и смерть – липучая зараза,  
в нашем деле главная из тем.



С холма открывается город Марии:  
приморские липы в начале тепла.  
Мы только недавно с тобой говорили  
про город, откуда Мария ушла.  
Мария ушла до начала обстрела,  
схватила детей, повязала платок.  
Она, получается, чудом успела,  
уборку и борщ отложив на потом.  
Незримо прошла

по предместьям садовым,  
едва ощущая сгущение зла,  
в то утро, когда обернулся Содомом  
тот город, откуда Мария ушла.  
Разбитые стены и окна пустые,  
обломки бетона, осколки стекла.  
Как будто уже не вернётся Мария  
в свой ласковый город, сожжённый дотла.  
Но разве удержится горе навеки,  
когда засинеют сквозь дым небеса  
и в море уйдут бородатые греки,  
вверяя Марии свои паруса?



Война не будет длиться вечно,  
конечен счёт её скорбей.  
Задумчиво и человечно  
ползёт по кухне муравей.  
Вот он спустился с ножки стула  
и на полу продолжил путь.  
Он крана глянцевое дуло  
обходит, чтоб не утонуть.  
Посмотрим, что у них в пенале:  
крупы и сахар, соль и мёд.  
Что ожидает нас в финале?  
Кто проиграет, чья возьмёт?  
Война не будет длиться годы –  
и он сквозь щёлочку в окне  
выходит в вольный мир природы,  
стремясь к покинутой родине.  
Песчаный холмик не могила,  
а дом, в котором все свои.

«Приятель, где тебя носило?» –  
воскликнут братья-муравьи.  
И он расскажет им про доты,  
про долгий штурм пчелиных сот,  
про стрекозиные налёты –  
и не стемнит, и не соврёт.  
Про то, как он бродил по кухне,  
отбившись ночью от полка,  
как он мечтал, что мир не рухнет,  
а только сдвинется слегка,  
лишь понарошку и в уме лишь.  
Но муравейника сыны  
ему ответят: «Что ты мелешь?  
Здесь нет и не было войны».



У человека потерялся кот.  
Да он и не был, в общем-то, привязан.  
Огромный кот по улице идёт  
и весело мяукает камазам.  
А человечек стал настолько мал,  
что смог бы жить и в спичечной коробке.  
Пропавший кот его бы не узнал,  
не отыскал бы в памяти короткой.  
Что человек на свете без кота?  
Его судьба пуста и беспредметна.  
Он обыскал знакомые места,  
он выбежал на улицу – всё тщетно.  
Он обошёл вокзал, универсам,  
сверкающую вывесками площадь,  
и возле цирка потерялся сам,  
и сам себя не чувствует на ощупь.  
«Мы все изменимся, но не умрём», –  
он шепчет из письма каким-то грекам.  
А где-то кот шагает с фонарём,  
чтобы домой вернуться с человеком.



Меня интересует современность,  
вся эта мутность,  
временность и бренность,  
сиюминутность, шаткость, суета,  
на шестерной законных два виста.  
Конечно, есть и вечные красоты,  
сияющие горние высоты,  
невозмутимый звёздный небосвод,  
но вновь поручик карты раздаёт.  
Вот современность  
в лермонтовском духе:  
летают пули, глупые свистухи,  
а офицеры разливают грог,  
пока судьба им отмеряет срок.  
Любуюсь тем, что завтра станет прахом,  
викторией, что обернётся крахом  
и вновь восстанет, где её не ждут,  
благословляя лёгкий бег минут.





Я русский – это значит «рашен»,  
и ход событий мне не страшен.  
Не унесёт река времён  
меня во вражеский полон.  
Я смесь кровей из анекдота:  
и немец, и поляк, и кто-то  
ещё, кого здесь больше нет –  
обычный русский винегрет.  
Я думал о себе так много:  
и бог, и царь, и шут, и вор.  
А оказалось, вот дорога  
и вот дорожный разговор.  
У нас с собой запасы браги,  
мои попутчики – варяги,  
бритоголовый Едигей –  
поэт из бывших хиппарей.  
И важный чин из Петербурга,  
и кандидаты всех наук.  
И нас уносит Сивка-Бурка,  
переходя на гиперзвук.



Гитлер нёс цивилизацию,  
но немного не донёс.  
Не донёс в поля рязанские,  
на широкий волжский плёс.  
Уползли в свою валгаллину  
удалые зигфрида́.  
Слава Богу, слава Сталину,  
да святятся холода.  
Слава строгой семинарии,  
древней церкви на горе.  
Метеообсерватории,  
что на речке на Куре.  
Слава добренькой полиции,  
туруханскому костру.  
Слава городу Царицыну,  
даже слов не подберу.  
Слава Радеку и  
Троцкому, пусть не  
дуются в гробу, и Ивану  
Страгородскому,  
благодетелю рабу.

Слава матушке Матронушке,  
что вперёд вела без ног.  
Слава нашей малой кровушке,  
что влилась в большой поток.  
Слава Богу триединому,  
что свершилось торжество.  
Слава нищему грузину,  
что не веровал в Него.



Говорила мне: «Я река,  
я ждала тебя, дурака».  
А река называлась Обь,  
и судьба превратилась в дробь.

В знаменателе нефть и газ,  
полыхание серых глаз.  
А в числителе, бог ты мой,  
бедность об руку с нищетой.

И с тех пор я стремлюсь к нулю  
в ледовитое полотно.  
Что люблю её, что не люблю,  
ей неважно, ей всё равно.

Я возьму её за рукав:  
выпьем кофе, поговорим.  
А в глазах её лесосплав  
несосчитанных лет и зим.



На улице прохладно, как в Эстонии,  
над рестораном запах Сакартвело\*,  
а я стою на стороне Истории,  
особенно опасной при обстреле.  
Мимо меня просвистывают скорые,  
поют певцы дурными голосами.  
Я жду тебя на площади Истории,  
у памятника, ровно под часами.  
Ползут и часовая, и минутная,  
давно прошли назначенные сроки.  
Меня жалеет публика беспутная,  
за столиками попивая соки.  
Но ты придёшь, желанная красавица,  
и я на миг застыну безъязыко,  
когда ты так застенчиво представишься:  
«Победа, или можно просто Вика».

---

\* Сакартвело — самоназвание Грузии, которое используют жители этой страны.



Фронтовые сто грамм, но не больше,  
хорош.

Не стесняйся, кури и здоровью вреди.  
Ты не знаешь, что встретит тебя впереди  
и какую судьбу на дорогах найдёшь.  
За холмом, за пригорком, за серой рекой,  
за истерзанным в дым дубняком вековым.  
То ли честь, то ли правду о жизни людской,  
То ли в землю зароет тебя побратим.  
Встань для общего фото с чужой дорогой,  
с офицерской женой как  
с любимой страной.

За спиною – вскипающий аэродром.  
Выпей малую чарочку, это не бром.  
Ты к ракушке ушной приложи телефон,  
и на память о зелени крымских долин  
вдруг послышится шум  
подступающих волн,  
неминуемо тонущий в гуле турбин.

В крайний раз подмигнула тебе замполит,  
видно, чем-то ей нравишься – впрочем,  
забудь.

У неё материнское сердце болит  
и медаль украшает высокую грудь.  
Помолчи, покури, своё сердце согрей,  
ты в заботах её только малая часть.  
Ей за тысячи тысяч других матерей  
холодеть и стареть, провожать и встречать.



Алигьери не бывал в Донбассе,  
не сидел в окопах под огнём,  
и лихие внуки дяди Васи  
ничего не ведали о нём.

Он в то время жил не по прописке,  
пил чай в гранатовом саду  
и писал родным в Невинномысске:  
«Не могу приехать. Я в аду».

Я вам не скажу за всю Равенну,  
но у Сан-Витале ребятня  
вспомнит: был один такой надменный,  
будто отблеск адского огня.

Не хотите верить и не верьте –  
мол, легко сражаться в голове,  
но вовеки не забудут черти,  
как он их лупил за ВДВ.





Смотри, двенадцать человек  
идут из темноты,  
пересекая русла рек –  
им не нужны мосты.  
Они идут через Донец,  
идут через Оскол,  
минуя белый останец  
и головешки сёл.  
Они идут врагу назло  
без касок, без брони.  
Двенадцать – равное число.  
Но люди ли они?  
О нет, они не мертвецы  
с червями на перстах  
и не восставшие отцы –  
нам проще было б так.  
Быть может, классики пера –  
Державин, Тютчев, Блок?  
Пока ещё не их пора,  
им встать не пробил срок.

Они не ангелы – ни крыл,  
ни перьев у них нет.  
Пешком вдоль свеженьких могил  
идут они чуть свет.  
Да, их двенадцать. Да, из тьмы –  
попробуй их сломи...  
А приглядеться – это мы  
идём, чтоб стать людьми.  
Из лёгких тканей цифровых  
мы скроены на ять,  
но нас ведёт в ряды живых  
искусство умирать.  
Искусство проходить сквозь смерть,  
одолевая страх.  
И мы пришли олюденеть  
на этих рубежах.



Теперь настало время выбрать  
не депутата и не ветчину,  
а выбирать, за что нам умирать.  
Выходит так, что снова за страну.  
За три берёзки или три ольхи,  
снегами припорошенную даль.  
Не за стихи? Пускай и за стихи,  
в родном пейзаже малую деталь.  
Задумываясь, если б да кабы  
ты в ступе столько лет не истолок,  
проговоришь «не быть или не быть» –  
не столь уж и нелепый монолог.  
За ту страну, что выйдет из огня –  
по нашим спинам – чище и ясней.  
За ту страну, что нового меня  
однажды восстановит из камней.



Сделали, как было решено,  
дождались безоблачной погоды  
и снимаем лучшее кино  
о войне в обратной перемотке.  
Моторола говорит «мотор»,  
камера подходит близко-близко,  
и встают художник и шахтёр,  
музыкант, нацбол и журналистка.  
Высветит прожектор имена,  
собирая лица по кусочку,  
и мадонна сядет у окна  
покормить свою святую дочку.  
Выйдет сквозь расщелину в огне  
взвод живых из Дома профсоюзов.  
Встретят их в нетронутой броне  
гордые Суворов и Кутузов.  
Эту ленту лучшие из нас  
сняли, а верней, завоевали.  
Мы ей не устроим пресс-показ  
и не повезём на фестивали.

Будем сами жить в ней, как в кино,  
наслаждаться солнцем на пленэре.  
Сделаем, как было решено.  
Попытаемся, по крайней мере.



Я не люблю демонстративных маек,  
не выставляю чувства напоказ.  
А ты, мой друг, талантливый прозаик,  
и у тебя на майке: «За Донбасс!»

Но ведь и я всецело за него же,  
и до такого градуса к тому ж,  
что буква Z проявится на коже,  
когда я встану под холодный душ.

Не спрятать вглубь  
и не прикрыть рубахой  
мелькающую в окнах череду  
разбитых АЗС под Волновахой  
и яблони, цветущие в бреду.

Мы древние, но всё-таки не греки,  
за местных не сошёл бы ни один.  
Мы греческие ели чебуреки  
в подвале у каких-то осетин.

А после на проспекте Metallургов,  
где заново людскую строят жизнь,  
асфальтовый каток из Петербурга  
серьёзно нам гудел: «Поберегись!»

Донбасс цветёт сквозь все свои печали,  
и на весеннем солнышке для нас  
простреленные трубы «Азовстали»  
под ветерком наигрывают джаз.



Шёл дождь, а теперь затишье.  
Дорога в полях пуста.  
На север от Перемышля –  
ахматовские места.

Тот берег держали русские,  
а этот низинный шмат,  
где зарослей ветки хрусткие,  
забрал себе хан Ахмат.

Он войско поставил юртами,  
велел разводить костры.  
В сапожках с носами гнутыми  
маячит он близ Угры.

С востока и с юга преданный,  
с тамгой неудач на лбу,  
он хочет одной победою  
исправить свою судьбу.



Стрела просвистела перьями,  
умчались гонцы в закат.  
Он хочет спасти империю.  
А эти чего хотят?

Все эти князьки болотные,  
немые лесовики.  
Колодные, подколенные,  
косматые мужики.

Распашете неудобины,  
посеете лебеду.  
Какую страну угробили,  
блистательную Орду!

Он хочет решить оружием,  
кто раб, кто великий хан.  
Тихонько в Кремле за ужином  
хихикает князь Иван.



«Стыдно жить в такой стране», –  
говорили, морща лица,  
процветавшие вполне  
обитатели столицы.

Журналисты и певцы,  
режиссёры новой драмы,  
и филологи-скопцы,  
и девицы из рекламы.

Внемля этой болтовне,  
я смеялся, орк и вата,  
но со временем и мне  
что-то стало стыдновато.

Стыдно жить в такой стране,  
где бравурные парады,  
но ни слова о войне  
ни со сцены, ни с эстрады.

Где веселье у бояр,  
а для нищих – распродажи.  
Где солдата в модный бар  
не пускают в камуфляже.

Призрак договорняка  
и мобильник для Калины.  
Лисий шаг Медведчука  
вдоль позорных красных линий.

Брошенные города  
и предательские книги.  
Много пищи для стыда,  
хоть корми ей Чад и Нигер.

Стыдно мне за пир воря  
за кулисой министерской.  
Стыдно и за то, что я  
здесь стою, живой и дерзкий.

Но не стыдно за страну,  
что из гноища восстала,  
и не стыдно за струну,  
что звенит в часы привала.

И не стыдно мне за тех,  
кто штурмует лесополки  
и на голой высоте  
танки жжёт у Новосёлки.

И за женщин, что плетут  
маскировочные сети,  
и за всех, кто с нами тут,  
всех, кто наш на этом свете.

За героев, за солдат,  
маршем вышедших в святые...

Мне не стыдно. Мы – орда.  
Стыдно мне. Мы – Византия.



Работино сработано под ноль,  
до земляной и каменистой массы.  
Шло наступленье весь июнь, июль,  
и до сих пор не кончились тарасы.  
То ли окоп, то ли могильный ров,  
и день за днём не молкнет канонада.  
На Малой Бронной земляничный раф  
и сто пятнадцать видов мармелада.  
Девушки говорят о ерунде,  
изображают позы, как в рекламе,  
и всё ещё не выяснили, где  
живут – в России или в инстаграме\*.  
А может статься, жить и надо так,  
воздушнее киношного попкорна?  
В Работино сквозь дым алеет  
флаг,  
у них в прицеле – Спас Нерукотворный.

---

\* Деятельность указанной организации запрещена.

Чем ближе к смерти, тем острее слух.  
Чем ближе к жизни, тем жирнее пицца.  
Чем ближе к смерти, тем сильнее дух.  
Чем ближе к жизни, тем мертвее лица.  
Хохлы хотят без мыла в парадиз,  
и сальные облизывают губы,  
но валяются гурьбой куда-то вниз,  
где полыхают джазовые клубы.  
Там подают синильное вино  
рогатые халдеи на копытах.  
Работино – навек Бородино.  
И некогда считать своих убитых.



Когда войну мы вгоним в гроб  
и хоронить сойдёмся вместе.  
Когда её бугристый лоб  
расстрига-ветер перекрестит.  
Когда её в донецкий кряж  
зароем, чтоб не восставала,  
и терриконовый пейзаж  
над ней сомкнется без прогала.  
Мы возвратимся в города  
и павильоны «Соки-Воды»  
собой заполним без труда,  
как землю мирные народы.  
И сок гранатовый никак  
нам не напомнит о разрывах,  
и о внезапности атак,  
и о случайностях счастливых.  
Мы им напьёмся допьяна,  
потом очнёмся и заметим,  
что погребённая война  
иначе снится нашим детям.

Они рисуют лик войны  
красивым, ласковым, нестрогим.  
Они почти что влюблены  
в неё на радость педагогам.  
И кто-то в класс ворвётся: нет,  
мерзее не было старухи!  
Но где же взять её портрет?  
Они к рассказам нашим глухи.  
И станет модным аромат,  
знакомый нам как трупный запах.  
А значит, вновь глаза глядят  
с привычным холодом – на запад.





Жил в тоске многоподъездной,  
где панель, а не кирпич,  
никому не интересный  
дядя Женя, старьй сыч.  
Он обругивал мальчишек,  
что с мячом наперерез.  
Из-за пенсионных книжек  
он ходил, ворча, в собес.  
Он доказывал кассирше,  
что четыре – дважды два.  
Он смотрел на вещи ширше:  
вещи больше, чем слова.  
Чем бывал он в жизни занят,  
толком я не узнавал.  
Он сидел. За что – Бог знает.  
Он когда-то воевал.  
Он переправлялся через  
Днепр – и там почти погиб.  
Дядя Женя – лысый череп.  
Дядя Женя – чайный гриб.

Кто б подумал, что бывают  
и такие времена.  
Я за тех, кто доживает,  
вместе с ними пью до дна.  
Я и сам из тех инкогнит,  
разбежавшихся волчат.  
Хорошо, что нас не помнят,  
в дверь ночами не стучат.  
А стучат одни костяшки  
домино на целый двор.  
Вышел в клетчатой рубашке  
Дядя Женя на простор.  
Впереди в багровой пене  
диск садится за рекой.  
Позади у дяди Жени  
нету тени никакой.

## Аист

Это Аист. У него перебито крыло.  
В остальном ему, считай, повезло:  
всё в порядке и всё на месте.  
А Седой – он был совсем молодой,  
просто у него позывной «Седой» –  
тот на днях оказался двести.

Двести – это означает лишь,  
что с ним больше не поговоришь,  
не покроешь погоду матом.  
Это не диагноз и не порок,  
это на том свете наш номерок,  
чтобы все по своим палатам.

Аиста пускают в аэроплан,  
хотя он вообще-то заметно пьян  
и крылом едва волочит поклажу.  
Он знает одно: ему надо в Читу.  
И таких, как он, на этом борту  
каждый пятый или четвёртый даже.

Вот они летят над ночной страной,  
называют друг другу свой позывной.  
Не заметишь, как ночь растает.  
И какой тут сон? Так, бред наяву.  
Аист кричит: «Я там всех порву.  
Сам порвусь, но и их не станет».

Много чего высказав сгоряча,  
он сопит возле моего плеча,  
я пишу о нём в телефоне.  
Нам ещё рановато в солдатский рай,  
нас с тобою, друг, Забайкальский край  
принимает в свои ладони.

16+

*Литературно-художественное издание*

Серия: Библиотека солдата СВО

**Караулов Игорь Александрович**

**СТИХИ**